

## Созвездие Кролика

Посвящается Е. Я.

Он был похож на женщину, в которой было что-то от ребенка, рожденного ею от него.

Его детские годы были доверху наполнены днями. Он щедро расплескивал их запас, пока на тридцать восьмом году жизни не обнаружил, что остались лишь ночи с восковой луной сквозь решетку узкого окна. Тогда судьба погнала его в далекий город снегов и беззвучной зимней пустоты, где заставила метаться между тремя похожими, как сны идиота, местами: проходной комнатой в загаженной хрущобе, закутком в подвальной библиотеке и каморкой охранника на территории заброшенного склада дефектных игрушек.

В детском саду он появился с одноухим плюшевым кроликом, подарком сгинувшего отца. Кролик как источник возможной эпидемии желудочно-кишечных заболеваний был немедленно отобран воспитательницей и предан сожжению в садовом крематории, построенном специально для таких случаев.

Помнившие его по тем годам говорили, что уже тогда он был высокого роста с невнимательными худыми ушами. В его мемориальной квартире остались слепки ушных раковин, отпечаток голоса на старом еврейском окне, небранная кровать с серым бельем и плачущие хранительницы музея, его мать и сестра, похожие друг на друга, как две капли воды на третью.

В возрасте двенадцати лет он поймал одичавшего молдавнского трусика и стал каждый день носить его в школу, унылое здание со стойким запахом хлорки из никогда не закрывавшихся и переполненных испражнениями и двоечниками сортиров. Отсиживаясь там на корточках, он карябал черным ногтем на засморканной стене запретное слово "папа".

За партией он поглаживал высывавшего голову из портфеля зверька и всегда отвечал невпопад. Однажды, когда учитель новейшей истории, партиец с косою челкой, закрывавшей кривой глаз, задал ему вопрос о движущих силах революции, он машинально процитировал "Жизнь животных", которую читал на перемене, — тот выхватил кролика и размножил ему голову у подоконник.

В девятом классе он написал свое первое стихотворение. Он писал его на передней парте, уставясь в проем стола, за которым сидела смазливенькая учительница английского. Когда он проводил взглядом по ее ногам,

уходившим в таинственную темноту под юбкой, у него кружилась голова и пересыхало горло. Он отводил глаза и лихорадочно рвал ручкой бумагу.

Теперь его имя высечено на памятной доске другой школы, где он никогда не учился, но более фотогигиеничной. Там же сообщается, что он окончил ее с серебряной медалью.

Как-то, когда ему стукнуло восемнадцать, он проходил под нависшим балконом дома на Мясоедовской. Осыпав его мелкой водяной пылью, за шиворот ему пролилась струйка. Задрав голову, он уткнулся взором в купол, из-под которого тянулись нежные картофельные ростки ног. Глядя на него, женщина засмеялась, убрала лейку и медленно протащила ткань обратно за балконную ограду. Держа лицо запрокинутым, как если бы носом шла кровь, он поднялся на второй этаж и остановился на площадке, затаив дыхание. Прошла минута, и дверь беззвучно отворилась.

Стихи его были разбросаны по всему жилью, торчали с полок, валялись под диваном, он пользовался ими как закладками, ставил на них чашки с чаем, стряхивал пепел, сворачивал из них голубей. И казалось, лишь невесомая пыль, взвешенная в коричневом воздухе комнаты, связывала лежащие повсюду листки, исчерканные в разных направлениях горячечным почерком, в один воображаемый том, включая в него расклеенные по ободранным стенам перековерканные газетные заголовки и скомканные счета, и бесчисленные рисунки, где с маниакальным постоянством варьировались профили генсеков, поэтов, ближайших друзей, безжалостные автопортреты и обрубки старческих тел с пупырчатой гусиной кожей. Работал он вспышками: загорался быстро, как сухая трава, и так же быстро гас — времени хватало ровно настолько, чтобы залепить косыми строчками оторванный откуда ни попадя клочок бумаги. Со временем клочки эти только уменьшались, строки стали наползать друг на друга, превращая обрывки в месиво неразличимых знаков.

Дней в его жизни оставалось уже немного, и он инстинктивно берег их. Душными ночами, когда город тяжело дышал неподвижным воздухом лета, он выходил на залитые луной улицы, мерил их длинными шагами, описывая сложную ломаную, в углах которой гнездились его друзья из вымирающего племени полуподвальных дервишей. Он обходил их, как последний император островной империи обходит свои смываемые океаном владения, и постепенно ломаная теряла звенья, пока не превратилась в отрезок прямой между его жилищем и дверью барака, где обитал его единственный уцелевший друг. Потом наступила ночь, когда и эта дверь оказалась заколоченной. Машинально проведя пальцами по колючей по-

верхности прибитой наискось доски, он двинулся обратно, оседающий, как резиновый жираф, из которого вытекает воздух.

Выходить стало некуда и незачем; он лежал на продавленном диване, укрыв ноги пиджаком, обрастал седой щетиной и смотрел в небо сквозь прутья оконной решетки. Так встретил он свое тридцатисемилетие, возраст, к которому многие поэты достигали величия и смерти. Вместо них пришла случайно заброшенная с дальнего северо-востока знакомая его пропавшего друга, пожелавшая увидеть автора когда-то слышанных и запомнившихся ей строк.

Эта рыжеволосоногая нимфа с крапленой бледной кожей лица и тела, с глазами цвета зеленой виноградной мякоти сошлась с ним. На пространствах ее кожи и в недрах плоти сосредоточились отныне его помыслы, из которых выросли стихи, через много лет принесшие ему посмертную славу.

Жить было негде. Им пришлось остаться с матерью и сестрой в неопрятной комнате трущобного дома на бывшей Госпитальной. Чтобы справить ночную нужду, приходилось спускаться во двор и долго блуждать по лабиринту похожего на каземат сортира, где глухо и страшно урчала вода, а в прореху крыши заглядывали колючие звезды, в расположении которых он угадывал очертания кролика. Женщины встретили друг друга со скрытой враждой, которой он ничего не мог противопоставить, кроме любви ко всем троем, только усугублявшей взаимную неприязнь.

У них родилась дочь, кричавшая по ночам в первый год своей недолгой жизни. Не знаящие раньше хронического недосыпа, они яростно вырывали друг у друга минуты сна, и с тех пор их отношения установились на той истерической ноте, которую взяли в эти ночи полубдения-полудремы. Мать с сестрой незаметно и неуклонно делали их совместную жизнь невыносимой. В конце концов, она забрала дочку и на грани помешательства уехала обратно.

Он был почти рад ее отъезду, но вскоре почувствовал, что не может вынести ночного одиночества. Ему грезилась ее кожа, то переливавшаяся веснушчатым млечным путем, то расстилавшаяся ковыльной пустошью с вкраплениями песчаника. Он рванул за ней, но спустя год метаний и диких ссор вернулся.

Абстиненция началась через неделю. Он засыпал ее невнятными телеграммами, ежедневно вызывал на переговоры, требуя встречи и боясь ее, без конца брал билеты и за несколько минут до отправления сдавал их. Наконец он догадался напиться и пьяным вскочил на подножку уходящего состава.

К Екатеринбург у страх вытолкнул его из вагона. Прослонявшись несколько часов по замусоленному вокзалу, он пересел на обратный поезд, но к Харькову тоска вновь схватила его за горло. В Перми припадок ужаса снова выгнал его на перрон и качнул назад. Приступы учащались, сокращая размах колебаний, пока он не очнулся неподвижно стоящим на привокзальной площади города с незнакомым ему названием Краматорск и не понял, что уже никуда не хочет.

Он был в тонком зимнем пальто мышиного цвета, с чемоданом, набитым стихами. Губы его безостановочно шевелились, подбирая рифму к слову параблепсис. Рифмы не было. Стихи и семья взаимно исчерпали друг друга. Он чувствовал, что жизнь его, струной натягивавшаяся между двумя удаленными на тысячи верст городами и издававшая все более высокий тон, сейчас лопнет, испустив звук краматорского лета.

Его нашли на полосе отчуждения среди заросших бурьяном и заброшенных гнилью шпал узкоколейки. Из чемодана, как из опрокинутой урны, вываливались мятые листки, в кармане пальто был рубль с копейками, неотправленная телеграмма жене и паспорт с квитанциями за оплату телефонных переговоров. На обороте одного из квитков было набросано его последнее стихотворение:

как тает ночь  
как близко расставанье  
в рассветных небесах  
звезды последнее мерцанье  
похмелья горечь на губах.

\* \* \*

Есть в Краматорске место, где по вечерам, когда так отчетливы звуки и запахи, с особенной тоской вспоминается пыльное южное детство. Это засыпанный хлоркой общественный туалет. Если взглянуть дальше, там, за городской площадью, за зданием исполкома тянутся приземистые грязные улицы, за ними ковыльное поле и лесок, который, по уверениям местных охотников, кишит одичавшими кроликами.

Москва

